**Литература Святой Руси**

Лобанов М.П.

Фундаментальное свойство русской литературы — то, что это литература Слова. Слова-Логоса. Тысячелетняя ее история открывается “Словом о Законе и Благодати” митр. Илариона (XI в.). Здесь Ветхому Завету — “Закону” (национально-ограниченному, замкнутому на одном еврейском народе) противопоставляется Новый Завет — “благодать”, универсальный характер христианства.

Из “Повести временных лет” известно, что к кн. Владимиру приходили хазарские евреи, убеждая его принять их иудейскую веру. Ответом на этот соблазн были следующие слова Владимира: “Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и ваш закон, не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?” Русский князь отверг иудейский закон, не ведая еще о его немыслимой жестокости в отношении к другим народам. В Ветхом Завете во Второй книге Царств (12:31) говорится о чудовищной расправе царя израильского Давида над покоренным народом: “А народ, бывший в нем (в городе), он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими”. Поражающая нас жестокость ветхозаветных героев объясняется богословами в качестве смягчающего обстоятельства то дикостью нравов того древнего времени, то метафорическим духовным смыслом, заключенным в злодеянии, вроде того, как истреблением собственных страстей истолковываются слова псалма 136: “Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!” Говоря об отличии Нового Завета от Ветхого Завета, митр. Иларион видит величайшее благо для Руси в распространении христианского света на ней, воздаст хвалу кн. Владимиру, крестившему Русь.

И главным направлением древнерусской литературы становится утверждение ценностей, связанных с христианской этикой и христианским государством. В “Повести временных лет” (XII в.) летописца Нестора события рассматриваются с религиозной точки зрения, повествование проникнуто чувством патриотизма, единства Руси.

Многое для понимания древнерусского характера открывает “Поучение Владимира Мономаха” (XII в.). Владимир Мономах — образец целостности характера древнерусского человека, при казалось бы несовместимых качествах: истинный христианин, пример благочестия, милосердия, попечения о людях, об “убогих” (он даже простил убийцу своего сына), и вместе с тем он положил конец княжеским усобицам, при нем Киевская Русь стала могущественным государством, а его именем половцы устрашали детей в колыбели. Это был русский средневековый век “силы и отваги”, древнерусским людям было свойственно религиозное понимание мужества: “Умирать побежденным значило бы поступить в рабство к победителю на том свете” (И. Забелин).

Целостность характера при религиозной основе, неразрывность слова и поведения стали в тысячелетней русской литературе принципом человеческого бытия, обретя свое концентрированное выражение в философии “целостности” славянофилов, прежде всего И. В. Киреевского. Схожие характеры, неразложимые в своих, казалось бы, противоположных качествах, перекликаются через тьму столетий. Не видим ли мы те же черты, что у Владимира Мономаха, и в великом русском полководце Суворове. Любопытно вспомнить, как русский резидент в Константинополе писал Суворову: “Один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление”. И этот же полководец, одно имя которого наводит страх на противную сторону, говорил: “Если вы хотите истинной славы, следуйте по стопам добродетели”. Суворов, глубоко религиозный человек, учил солдат: “Сегодня молиться, завтра поститься, послезавтра — победа или смерть”.

Отважный полководец, разбивший тевтонских рыцарей, отразивший натиск на Русь католического Запада, Александр Невский говорит: “Бог не в силе, но в правде” (из “Жития Александра Невского”, XIII в.). Эти слова — как нравственная основа мужества — раскрываются в русской литературе на протяжении столетий (начиная от “Жития Александра Невского”, “Сказания о Мамаевом побоище” до “Войны и мира” Л. Н. Толстого, где русские в Бородинском сражении одерживают, по словам писателя, нравственную победу над французами).

Уникальное, пожалуй, явление в истории европейской агиографии (жизнеописание святых) появление на Руси “Сказания о Борисе и Глебе” (XII в.) — о первых канонизированных русских святых, юных князьях Борисе и Глебе, принявших смерть от своего старшего брата Святополка Окаянного. С пронзительной силой заявила здесь о себе идея кротости, смирения, добровольного приятия мученичества во имя Христа. Из этого события, как из зерна, выросла наша многовековая история с ее трагедиями и загадками: братоубийство, нескончаемое на протяжении веков (от розни удельных князей, приведшей к монголо-татарскому завоеванию Руси, от Смутного времени, церковного раскола — до гражданской войны 1917 — 20). Не отсюда ли и покорность, терпение народа? Но есть и некая религиозная тайна в этом смирении, жертвенности (образы страстотерпцев Бориса и Глеба в одном из сказаний являются воинам Александра Невского, вдохновляя их в сражении с врагом).

При идеале смирения древнерусскому человеку в то же время свойственно развитое чувство внутреннего достоинства, различение ценностей истинных и мнимых в человеке. Автор “Моления Даниила Заточника” (н. XIII в.) обращается к своему господину: “Не смотри на внешность мою, но посмотри каков я внутри... Ибо нищий мудрый — что золото в грязном сосуде, а богатый разодетый да глупый — что шелковая подушка, соломой набитая”. И уже спустя шесть столетий, в XIX в. славянофил К. Аксаков в своих “Опытах синонимов. Публика — народ”, противопоставляя “публику” (представителей высшего сословия) — народу, скажет: “И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте, в народе — золото в грязи”.

В величайшем поэтическом творении “Слове о полку Игореве” (XII в.), повествующем о неудачном походе на половцев князя Новгорода Северского Игоря Святославича, патриотическое чувство безвестного автора слито с горечью сознания губительности для Руси княжеских усобиц, со страстным призывом к единству русских земель. Образ Ярославны как бы предваряет нравственно цельный тип русской женщины в нашей литературе: Феврония в “Повести о Петре и Февронии” (к. XV в.), Ульяния Осорьина в “Повести об Иулиании Осорьиной”, написанной ее сыном в н. XVII в., Марковна в “Житии протопопа Аввакума”, Татьяна в “Евгении Онегине” Пушкина, Лиза в “Дворянском гнезде” Тургенева и т. д.

Созданное незадолго до нашествия татар “Слово о полку Игореве” было как бы предупреждением о величайшей опасности для Руси княжеской розни. И беда пришла: раздробленная Русь оказалась под монголо-татарским игом. Но как говорит историк В. О. Ключевский (в своей речи “Значение преподобного Сергия для русского народа и государства”): “Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно историческую дорогу”. Таким человеком, который вдохнул в русское общество “чувство нравственной бодрости, духовной крепости”, и был Сергий Радонежский. Он, по словам историка “поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее”. И он же благословил кн. Дмитрия Донского на подвиг перед Куликовской битвой. В “Житии Сергия Радонежского” Епифания Премудрого (XV в.) образ прп. Сергия неотделим от Святой Троицы. Еще до появления его на свет было знамение, означавшее, что “будет ребенок учеником Святой Троицы”. “И не только сам будет веровать благочестиво, но и других многих соберет и научит веровать в Святую Троицу”. Во имя Святой Троицы была освящена Варфоломеем (будущим Сергием) срубленная им небольшая церковка в чаще леса. Став по воле Божией игуменом монастыря, Сергий, “наставляя братию, немногие речи говорил. Но гораздо больше пример подавал братии своими делами”. Обретая силы в безграничном источнике любви — в живоначальной Троице, Сергий вносил мир и согласие не только в жизнь, в души монашеской братии, но и в мирское общество. Он примирял враждующих князей, под его влиянием удельные князья объединились перед Куликовской битвой вокруг Дмитрия Донского.

К словам историка о способности народа “подниматься на ноги после падения” можно добавить и то, что христианский свет никогда не угасал в лучших русских людях. Святостью супружеской жизни в миру отмечена “Повесть о Петре и Февронии”. В образе Февронии, рязанской крестьянки, ставшей женой муромского князя Петра, прославляется сила, красота все преодолевающей женской любви, ее бессмертие. Повесть эта оказала большое влияние на формирование легенды о граде Китеже, широко распространенной среди старообрядцев (город Китеж при нашествии татар, скрываясь от них, опускается на дно озера, продолжая чудесное существование до лучших времен). Любопытен записанный писателем Ю. Олешей рассказ о немецком офицере, который, услышав в России, во время войны, легенду о Китеже, пришел в смятение, не веря, что такой красоты легенду мог сотворить народ “низшей расы”.

Яркое представление о духовном мире русского человека, оказавшегося на чужбине, дает “Хожение за три моря” Афанасия Никитина (2-я пол. XV в.). Очутившись после всех злоключений в Индии, тверской купец Афанасий Никитин живо всматривается в новую для него, чужеземную жизнь, в быт, нравы, обычаи местных жителей, в их религиозные обряды и т. д. Поразительна поистине художническая зоркость автора, например, в описании выезда молодого султана в день мусульманского праздника (невольно приходит на память такая же удивительная выразительность во “Фрегате “Паллада” И. А. Гончарова, когда подробно описывается японская церемониальность в сцене приема русских путешественников нагасакским губернатором). Черта характерно русская, свидетельствовавшая об универсальности русского мировосприятия.

Находясь вдалеке от своей родной земли, среди индусов и “бесерменов” (мусульман), Афанасий Никитин постоянно думает о ней, “печалится по вере христианской”. Когда его ограбили в устье Волги, пропали церковные книги, а сам он потерял черед праздников христианских. “А когда Пасха, праздник воскресения Христова, не знаю: по приметам гадаю — наступает Пасха раньше бесерменского байрама на девять или десять дней”, “И молился я Христу Вседержителю, Кто сотворил небо и землю, а иного Бога именем не призывал”. “Уже прошло четыре Пасхи, как я в бесерменской земле, а Христианства я не оставил”.

Русский и православный — синонимы (так же, как, по словам Ф. М. Достоевского, синонимы — язык и народ). Церковь учит свою паству бдительности в распознавании врагов “внешних” и “внутренних”. Внешним врагом, грозившим с помощью военной силы уничтожить Православную Русь, окатоличить ее, были псы рыцари-иезуиты, разгромленные Александром Невским. В конце XV в. появился еще более опасный для Православия враг — враг внутренний, грозивший изнутри разложить Православие, заменить его человеконенавистнической иудейской верой. Это были жидовствующие (или, как их еще называют, иудействующие). Еврей Схария, попавший в Новгород из Литвы, и пятеро его единокровных сообщников положили начало секте, которая не признавала в Христе Бога, не верила в Таинство причастия, была против поклонения иконам (то есть отвергалось христианство). Свив свое гнездо в Новгороде, секта вскоре проникла в Москву, где среди ее сторонников оказалось множество духовных лиц вплоть до митр. Зосимы, людей из окружения вел. кн. Ивана III, да и сам он первое время поддерживал разных приверженцев секты, пока не обнаружилась вся исходящая от нее опасность для церкви и государства. Растлевающее влияние оказывала эта секта на нравы, мораль общества. В 6-м томе “Памятников литературы Древней Руси” (к. XV — 1-я пол. XVI вв.) отмечается, что “вопрос о содомии (гомосексуализме)... особенно остро встал во времена Филофея, когда ересь жидовствующих распространила этот порок и среди светских лиц (у еретиков, по предположениям некоторых историков, он выполнял роль ритуального действа)”.

Борьбу с жидовствующими возглавил архиепископ Новгородский Геннадий, который энергично взялся искоренять зло и в 1490 добился созыва Собора, отлучившего еретиков. В “Житии святого Геннадия, архиепископа Новгородского”, рассказывается, как Геннадий, “чтобы видел народ, каковы были сеятели пагубных плевел, велел за сорок верст от города сажать их на вонючие седла, лицом к хвосту конскому... чтобы смотрели на запад — темное царство вечных мук; на головы их надели остроконечные шлемы из бересты с мочальными или соломенными венцами наподобие бесовских и с надписью: “Се сатанино воинство...”.

Сподвижником Геннадия в борьбе с жидовствующими был Иосиф Волоцкий. Блестящий оратор, он своими тяжкими обличениями принудил митр. Зосиму оставить московскую кафедру. Тринадцать “слов” против жидовствующих составили его сочинение “Просветитель”.

В XV в. произошли события, которые оказали огромное влияние на формирование русского национального самосознания. Не имея сил для противостояния турецким завоевателям и надеясь получить помощь от Запада, Византия заключает с ним унию (Флорентийская уния 1439). Унию самовольно подписал и представитель от Русского государства московский митрополит Исидор, грек по национальности. По возвращении в Москву он был за измену Православию арестован, но спасся бегством в Литву. Уния не спасла Византию, Запад не пришел к ней на помощь, и в мае 1453 со взятием турками Константинополя Византийская империя пала.

Гибель Византии произвела глубочайшее впечатление на Руси, которую тесно связывали с нею церковно-культурные традиции. Вместе с тем, с утратой мирового православного центра в русском сознании возникает мысль о Москве как преемнице Константинова-града, как о новом мировом центре Православия. Идея “Москва — Третий Рим” выражена в послании старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея вел. московскому кн. Василию III (н. XVI в.). Первый Рим пал из-за ересей. Второй Рим (Константинов-град) покорен турками (за грехи соглашательства с латинством). Опорой чистого Православия в мире становится Москва. Обращаясь к вел. кн. Василию III, старец Филофей говорит: “все христианские царства сошлись в одно твое... два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать”.

Обращенная к Василию III идея Филофея получает свое полное развитие и осуществление при сыне Василия III — Иване Грозном (кстати, к нему и обращено одно из последних посланий старца), когда складывается мощное русское централизованное государство с присоединенными к нему Казанью, Астраханью, Сибирью, а Москва заявляет о себе действительно как мировой центр Православия. Литературно-идеологическим памятником эпохи Ивана Грозного свойственна монументальность идеи и формы. Это относится к таким творениям, как “Великие Четьи-Минеи”, “Стоглав”, “Домострой”. Четьи-Минеи (в двенадцати томах, по числу месяцев), составленные митр. Макарием и коллективом его многочисленных сотрудников, — это, по словам историка В. О. Ключевского, целая “энциклопедия древнерусской письменности”. По его счету, в них 1300 житий, в том числе 40 житий русских святых, большинство которых было канонизировано на Соборах 1547 и 1549. Установление всецерковного чествования целого сонма русских святых около сер. XVI в. означало углубление исторически-церковного сознания в русском обществе, растущего интереса к отечественным подвижникам, ослабление зависимости от Восточной церкви.

В 1551 царем Иваном Грозным был созван церковный собор в обстановке, когда обнаружились признаки ослабления духа веры, упадка религиозно-церковной жизни Древней Руси. Деяния этого собора были записаны в книге, разделенной на сто глав и получившей название “Стоглав”. В него вошли речи царя, его вопросы и ответы собора, касающиеся церкви, религии, падения нравственности, древнего благочестия. “Стоглав” дает богатейший материал для знакомства с нравами и обычаями того времени.

“Домострой” вобрал в себя из предшествующей древнерусской литературы все духовно ценное, традиционное, отвечающее самой сути миросозерцания русских людей, коренным особенностям их национального характера, немыслимого без православной основы. Здесь свод наставлений о религиозных обязанностях христианина по отношению к Богу и ближнему сменяется изложением наставлений относительно внутрисемейных отношений, воспитания детей, обязанностей мужа и жены. Наконец, советы о порядке ведения домашнего хозяйства — целая энциклопедия домашнего быта и хозяйства на Руси XVI в.

Известно, каким пугалом в глазах “общественности” стремились представить “Домострой” прогрессисты и радикалы XIX в. и последующих времен. За “домостроевщину” как знак невежественной старины, всего косного, темного в ней выдавалась древнерусская семья, где муж — непременно самодур, а жена — безмолвная рабыня. Между тем из “Домостроя” видно, какую высокую роль играла женщина-хозяйка дома, дополняя дело мужа как главы семьи своим влиянием на атмосферу семейной жизни как любящая мать и жена, как труженица, распорядительница порядка в доме. Главка из “Домостроя” “Похвала женам” заставляет вспомнить светлые образы древнерусских женщин, воссозданных в таких работах, как “Идеальные женские характеры Древней Руси” Ф. И. Буслаева, “Боярыня Морозова...” И. Е. Забелина, “Добрые люди Древней Руси” (об Иулиании Осорьиной) В. О. Ключевского.

Конечно, очень многое в “Домострое” воспринимается ныне именно как атрибутика литературного памятника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то, что имеет и современное значение. Каждый народ обладает тем своим особым качеством, которое принято называть менталитетом. Например, для японцев характерен культ предков, национальных традиций, который и стал в виде морального фактора одной из главных причин “экономического чуда”. У немцев-протестантов труд становится как бы исполнением религиозного долга. “Американская мечта” — стать миллионером. О корнях еврейской монополии в банкирском деле А. С. Хомяков писал: “Газеты недавно дразнили зависть читателей перечнем Ротшильдовых миллионов; но Ротшильд — явление не одинокое в своем народе: он только глава многомиллионных банкиров еврейских. Своими семьюстами миллионами, своим правом быть, так сказать, денежною державою обязан он, без сомнения, не случайным обстоятельствам и не случайной организацией своей головы: в его денежном могуществе отзывается целая история и вера его племени. Этот народ без отечества, это потомственное преемство торгового духа древней Палестины, и в особенности эта любовь к земным выгодам, которая и в древности не могла узнать Мессию в нищете и уничижении. Ротшильд факт жизненный” (статья “О возможности русской художественной школы”).

В “Домострое” осуждается богатство, нажитое неправедно, не честным трудом. “Неправедное богатство не желать, законными доходами и праведным богатством жить подобает всякому христианину; жить на прибыль от законных средств”. В истории России “праведное богатство” и было на службе государственных интересов страны, способствуя развитию ее экономики, производительных сил (следует отметить особую роль в этом деле купцов и промышленников из старообрядцев в XIX в.). Ныне, в результате “перестройки-революции”, в противовес традиционной трудовой этике, в России агрессивно утверждает себя богатство награбленное, преступное. Апофеозом торжества этих грабителей стало нашумевшее в печати выступление по израильскому телевидению российских банкиров-миллиардеров Березовского, Гусинского, Ходорковского с компанией, которые нагло и цинично бахвалились, как они беспрепятственно заполняли пустые ниши финансовых спекуляций, в результате чего в руках этих евреев оказалось 80 процентов капитала России. К словам Хомякова о еврейской “любви к земным выгодам” можно прибавить то, что нынешние ротшильды-березовские-гусинские уже не скрывают главного назначения своих миллиардов — как орудия “нового мирового порядка”, мирового иудейского владычества.

Разговор о литературе эпохи Ивана Грозного закончим кратким словом о нем самом, как о писателе. Адресатом двух его знаменитых посланий был князь Курбский, потомок ярославского князя. В молодости друг, советник Грозного, участник Казанского похода, впоследствии тайно бежавший к литовцам и во главе их отрядов воевавший против бывшей родины, Курбский выражал интересы бояр, не желавших отказываться от участия во власти, готовых, как их предки — удельные князья, разорвать Россию на части. В ответ на обвинения Курбского в истреблении бояр, злоупотреблении царем своей единодержавной властью, Иван Грозный напоминает изменнику об установленности “Божьим веленьем” царской власти, от ее имени он карает тех, кто покушается на государственность, целостность Руси. “Господь наш Иисус Христос сказал: “Если царство разделится, то оно не может устоять”, кто же может вести войну против врагов, если его царство раздирается междоусобием, распрями?! Как может цвести дерево, если у него высохшие корни? Так и здесь: пока в царстве не будет порядка, откуда возьмется военная храбрость?” Стиль и язык посланий Грозного, в отличие от составленных по правилам риторики, лишенных индивидуальности посланий Курбского, живо передают темперамент, необузданность характера царя, свободу, беспорядочность в выражении им своих мыслей и чувств. Элементы языка книжного (свидетельствующего о богословском образовании автора) сочетаются с ярким разговорным языком, пересыпанным меткими выражениями, “кусательной” иронией, грубыми, язвительными издевательствами над противником. Язык Ивана Грозного в его двух писаниях Курбскому можно назвать предтечей языка протопопа Аввакума (который, кстати, ссылался в своей борьбе с Никоном на Ивана Грозного как на ревностного защитника Православия: “Миленький царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке”).

Издревле свойственный русской литературе историзм проявляется во многих произведениях литературы XVII в. Таково, прежде всего, “Сказание” Авраамия Палицына, келаря Троице-Сергиева монастыря, о шестнадцатимесячной осаде этого монастыря поляками и литовцами (1608—10). Автор повествует о героизме защитников святой обители — монахов, крестьян, называет реальные имена, связанные с тем или иным конкретным подвигом. Возникают моменты, в которых можно увидеть предвестие ситуации “брат на брата” в будущей русской литературе. “Троицкий же слуга Данило Селевин, которого поносили из-за бегства его брата Оськи Селевина, не желая носить на себе изменнического имени, сказал перед всеми людьми: “Хочу за измену брата своего жизнь на смерть променять!” И со своей сотней пошел пешим к колодцу чудотворца Сергия на врага. Данило храбро бился с захватчиками, многих посек, но и сам был сильно ранен. И его, подхватив, отнесли в монастырь, и он преставился во иноческом образе”. С беспощадной реалистичностью (вплоть до натуралистического нагнетания) описываются бедствия, ужасы мора и массовых смертей в стане осажденных. И на протяжении всей осады, во всех обстоятельствах защитников обители не покидает являющийся им великий чудотворец Сергий, который “расхрабривает их” (придает им храбрости) в сражении, укрепляет их волю в тягчайших испытаниях.

К XVII в. относятся записи духовных стихов, хотя существовали они задолго до этого. Исполнителями, а зачастую и создателями этих стихов были калики перехожие, слепые певцы, которые бродили по деревням, пели на ярмарках, на монастырских дворах и т. д. Содержанием духовных стихов служат ветхозаветные, евангельские сюжеты, апокрифы, истории из житий святых, о праведниках и грешниках, представления о мироздании, его начале и судьбах и т. д. Известный ученый Ф. И. Буслаев отмечал “глубину мысли и высокое поэтическое творчество” лучших духовных стихов, их возвышенный, христианский настрой.

Сколько в духовных стихах, в лучших из них — умилительного и вместе с тем глубокого (“Голубиной книгой”, т. е. Глубокой книгой, называется духовный стих о мироздании, о Божьих тайнах его).

А вот “Об исходе души из тела”:

Душа с телом расставалась, как птенец со гнездом. Возлетает и выходит в незнакомый мир... Оставляет все житейское попечение, Честь и славу, и богатство маловременное, Забывает отца, и мать, и жену, и чад своих. Переселяется во ин век бесконечный... Тамо зрит лица и вещи преужасные, Добрых ангел и воздушных духи темные. Вопрошают душу ангелы об делах ея, Не дают ей ни малейшего послабления: “Ты куда, душе, быстро течешь путем своим? Ты должна здесь во всех делах оправдатися. Вспомни, как на оном свете во грехах жила, — Здесь грехами твоими, как сетьми, свяжут тя”. “Вы помилуйте, помилуйте, вы, добрии ангели. Не отдайте мя, несчастную, в руки злых духов, Но ведите мя ко Господу милосердному. Я при смерти в делах своих покаялась, В коих волен, милосердный Бог простит меня. Вы же что, мои друзи, ближние сродницы, Остояще гроб и тело лобызаете? Вы почто меня водой омываете, Не омывшегося слезами перед Господом?”

Здесь даже слишком обытовлена потусторонняя тайна, но сколько пронзительного (как будто это наши умершие матери) в стенании трепетной души, умоляющей ангелов не отдавать ее, несчастную, в “руки злых духов”, а вести скорее ко Господу, в милосердие которого она верит, и вдруг это обращение к земной родне своей, оплакивающей умершего, вызывающее светлую улыбку, укор сродникам с простодушным заискиванием перед Господом. В этом духовном стихе выражена народная вера в милосердие горних сил к нашим грешным душам (кстати, так же, как и в рублевских фресках о страшном суде во Владимирском Успенском соборе).

По своему содержанию к духовным стихам может быть отнесена и “Повесть о Горе-Злочастии” — о злоключениях молодца, ушедшего из родительского дома, пожелавшего жить своим умом, по своей воле, который после житейских мытарств, душевных терзаний уходит в монастырь.

В 1660-х появляется первый в русской литературе опыт романа — “Повесть о Савве Грудцыне”, принадлежащий безвестному автору. Это история о том, как сын богатого купца Саввы, ставший рабом исступленной страсти к молодой жене старого купца, закладывает душу дьяволу, дабы вернуть любовь прельстившей его женщины. Уже здесь, можно сказать, видны зачатки того психологизма “темных страстей”, который получит такое углубленное развитие в позднейшей литературе (Рогожин в “Идиоте” Ф. М. Достоевского, молодой купец Петр в пьесе А. Н. Островского “Живи не так, как хочется”). Савве во всех обстоятельствах жизни сопутствует “мнимый брат” — бес, он же ведет его в “град велик”, к престолу “отца” своего, которому Савва вручает написанное под диктовку беса письмо о своей готовности служить дьяволу. И этот постоянный спутник героя — бес предстает собственно как двойник Саввы, недаром и возникает он на пути его сразу же, как только герой “мысль положи во уме своем”, что “аз бы послужил диаволу”, если бы тот восстановил любовную связь. Двойничество в русской литературе станет обычным явлением разорванного безрелигиозного сознания (напр., разговор Ивана Карамазова с чертом у Достоевского).

Одурманенность страстью доходит у Саввы до того, что он ни во что ставит (и даже смеется над ними) письма к нему матери, которая умоляет его бросить “непорядочное житие” и возвратиться домой. Материнское проклятие не трогает его, что было беспримерным для того времени нравственным падением. (Можно вспомнить историю, когда сам молодой царь Михаил Романов, несмотря на то что его поддерживал отец, митр. Филарет, вынужден был отказаться от женитьбы на любимой из-за несогласия матери.) То, о чем еще сто лет назад на церковном Соборе с его “Стоглавом” говорилось в сдержанной форме (об ослаблении духа веры, древнего благочестия), теперь вырывалось в литературе греховными страстями людей, для которых уже нет сдерживающих пут “Домостроя”. Новые веяния носились в воздухе, и не только в сугубо плотских проявлениях. Дух новизны тонко уловлен В. Ф. Одоевским, автором “Русских ночей”, и в атмосфере европейской жизни примерно той же эпохи (жена Баха испытывает смятение, когда впервые слышит исполняемую гостем новую, светскую музыку — после привычной для нее величавой, “вечной” музыки мужа трепетом отзываются в ней страстные мирские звуки). Но “Повесть о Савве Грудцыне” заканчивается в духе псалма 61: “Только в Боге успокаивается душа моя”. От погибели его избавляет милосердие Богородицы, по повелению Ее он становится иноком.

В сер. XVII в. в русской православной церковной жизни произошел раскол, ставший нашей национальной трагедией. К этому времени более чем вековая идея “Москва — Третий Рим” (от падения Византии) стала восприниматься уже не теоретически, а как вполне осуществимая на практике. Но для того, чтобы Русская Церковь стала вселенски православной, необходимо было сблизить ее с греческой церковью, устранить различия между русскими и греческими церковными книгами. Это и стало предметом церковной реформы, проведенной царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Нововведение вызвало мощное сопротивление приверженцев старины во главе с вождем старообрядцев протопопом Аввакумом. Написанное им о себе в земляной тюрьме Пустозерска на берегу Ледовитого океана “Житие” (1673) — венчая отроги древнерусской литературы как одна из главных ее вершин, открывает вместе с тем новые пути русского слова. Почему до сих пор, спустя три с лишним столетия, так действует на нас слово Аввакума? Потому что за этим словом стоит сам автор, обжигающая правда, подлинность всего пережитого им, его готовность пойти за веру на костер (чем и закончилась его героическая, мученическая жизнь). В своем слове он “дышит тако горящею душою”, употребляя его собственное выражение. Вот уж где поистине: “Как живу, так и пишу. Как пишу, так и живу” (как впоследствии определял принцип своего жизненного поведения один из русских писателей). Эта целостность, неразрывность слова и дела стали и этическим заветом славянофилов, ставивших во главу угла писательской личности нравственные качества (И. В. Киреевский: поставить “чистоту жизни над чистотой слога”).

Аввакум — не писатель в общепринятом “профессиональном” значении слова, писательство для него — необходимое средство борьбы. “По нужде ворчу, — писал он, — понеже докучают. А как бы не спрашивали, я бы и молчал больше”. Но в этом “ворчании” — какой художник слова! Какое богатство жизненно психологических связей протопопа с миром (царь Алексей Михайлович, патриарх Никон, боярин Ртищев, Симеон Полоцкий, боярыня Морозова, воевода Пашков, священники, паства и т. д.), и какая, иногда в нескольких словах, изобразительная сила в показе человеческих характеров, какое разнообразие интонаций (от язвительной по отношению к Никону до задушевной — с женой Марковной)! И совершенно уникальный, “природно русский”, разговорный народный язык (“принципиально непереводимый” на европейские языки, по Достоевскому).

Религиозно-церковное сознание Аввакума, при всей своей догматичности, насыщено, драматизировано “страстьми”, переживаниями, которые вносят в познание им сущего элемент сердечного всеведения (подобно тому как для его современника Паскаля только с “болью сердца” достигается полнота истины). Обличитель “отступнической блудни”, готовый “перепластать на четверти” никониан (хотя сам отвергает жестокость в делах веры: “Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да вислицею в веру приводить”), Аввакум как христианин и страдает и сострадает, он испытывает “печаль”, ему “горько зело”, он “плачет” за людей, ему их жаль и т. д. В религиозном опыте Аввакума и в самой судьбе его выразилось то предощущение катастрофичности бытия, которое будет постоянно сопровождать историю России вплоть до настоящего времени.

Второй раскол ожидал Россию при сыне царя Алексея Михайловича — Петре I, реформы которого раскололи нацию на европеизированный образованный слой и народную массу. Петровские реформы стали предметом длительного исторического спора между их сторонниками и противниками. Но даже и славянофилы, которых западники необоснованно обвиняют в огульном отрицании этих реформ, в действительности признавали их историческую необходимость, целесообразность, как освобождение, по словам К. С. Аксакова, от “исключительной национальности”, как выход в мир, в активные взаимоотношения с Европой, что позволило русскому народу полнее реализовать свои потенциальные духовные силы, утверждать свое призвание в мире. Но при этом славянофилы не принимали таких радикальных реальностей петровских реформ, как разрыв с духовно-культурным наследием Древней Руси, с многовековыми народными, культурными традициями. Неблагоприятные последствия имели церковные преобразования. Петр покончил с патриаршеством, в 1721 был учрежден Святейший синод, что привело к полнейшей зависимости церкви от государства, к обмирщению церковной власти.

В н. XVIII в., в результате заимствования с Запада сугубо утилитарных знаний, технической, административной, военной, мореходной и прочей терминологии, с распространением переводной мирской литературы — вследствие всего этого русский язык, письменность перегружаются варваризмами, канцеляризмами, языковой иностранщиной. Всего каких-нибудь три — четыре десятка лет отделяют литературу петровского времени от “Жития” Аввакума, а между ними — непроходимая пропасть. Как будто не было мощной стихии “природного русского” языка, не было глубинной духовности и психологизма. Как будто бы все началось на пустом месте, без родной почвы, без корней.

Начиная со 2-й четв. XVIII в. в течение многих десятилетий развитие русской литературы сковывалось заимствованной ею формой французского классицизма XVII в. (который сам ориентировался как на образец на античную “классику”, хотя и был вызван внутренними государственными потребностями своего времени). Свойственная французскому классицизму рационалистичность становится главным средством познания и для русских классицистов. Если для древнерусской литературы просвещение означает просвещение светом веры (вспомним “Просветитель” Иосифа Волоцкого), то для писателей XVIII в. просвещение сводится к знаниям, науке. Первая же сатира Антиоха Кантемира “На хулящих ученье, или к уму своему” — направлена против тех, кто отрицает значение науки, не видит в ней никакой пользы, враждебно относится к ней. И в других сатирах непросвещенность ума явлена как причина человеческих пороков, дурного воспитания, невежества тех дворян, которые тщеславятся своим происхождением, не имея никаких гражданских, военных заслуг и т. д. Но примечателен сам взгляд сатирика на свое призвание: в четвертой сатире “Об опасности сатирических сочинений”, говоря о “ненависти всего мира” к сатирику, автор замечает: “Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу”. Это то, что станет потом у Н. В. Гоголя “смехом сквозь слезы”, что на его могильной плите будет увековечено словами псалма: “Горьким смехом моим посмеюся”.

Язык сатир Кантемира (при отдельных метких выражениях) был так труден для восприятия тогдашнего читателя (не говоря уже о читателе современном), что автор счел необходимым сопроводить текст примечаниями, иногда даже в виде перевода. Тяжелым, неуклюжим языком писал свои стихотворные произведения Василий Тредиаковский, но в отличие от Кантемира, с его близким к прозе силлабическим стихом, Тредиаковский ввел в стихосложение более свойственный русскому языку тонический стих (вместо известного числа слогов в силлабическом стихе — правильное чередование ударного и безударного слогов). М. В. Ломоносов усовершенствовал этот ритмический стих с помощью ямба, отчего появилась невиданная в русских виршах энергия, полетистость, звучность стиха. И это не было частным вопросом стихосложения, а отвечало духу времени с его победами русского оружия. В ямбическом стихе как бы чудился “орлиный полет” победоносных русских полков (вроде оды Ломоносова “На взятие Хотина”).

Обожествляя Петра, горячо ратуя за петровские реформы, Ломоносов не умалял, не отрицал прошлое России, он как великий патриот страстно отстаивал все то, что было связано с истоком духовно-национального самосознания. Заслон против хлынувшего в русский язык потока варваризмов он видел в церковнославянском языке, который наряду с разговорно-бытовым языком издревле составлял основу русского литературного языка. Статья Ломоносова “О пользе книг церковных в российском языке” как бы предопределила непрерываемое тяготение русской литературы к церковнославянизмам (от Радищева, с крайней славянизированностью языка его “Путешествия из Петербурга в Москву” — и в нем “Словом о Ломоносове”, до Маяковского, в дореволюционных поэмах которого богоборчество парадоксально соединено с влечением к церковнославянской лексике).

Человек глубоко религиозный, Ломоносов не отделял резкой чертой веру от науки, видя единый источник их в Божественном откровении. “Достойны посмеяния те люди, — говорил он, — которые дерзают по физике изъяснять непонятные чудеса Божий и самые страшные христианские тайны”. Но так же нелепа и другая крайность: “почитать открытия естественных наук противными христианскому закону”. В знаменитых духовных одах “Утреннее размышление о Божием величестве” и “Вечернее размышление о Божием величестве” Ломоносов при виде исполненных чудес явлений природы славословит величие Творца.

Между тем, все более очевидными становились узость, окаменелость заимствованных у чужеземцев форм, приемов, которые мешали русской литературе выйти на путь самостоятельного национального развития. Любопытно “приказание” знаменитого Г. А. Потемкина драматургу А. П. Сумарокову, чтобы он написал “трагедию без рифм”. По этому поводу П. А. Вяземский в своей статье “О Сумарокове” пишет: “Это показывает проницательность и оригинальность ума Потемкина, который, и не бывши автором, требовал уже от драмы нашей новых покушений, не довольствуясь исключительным подражанием узким формам трагедии французской”. Но тот же Сумароков следовал не только французским литературными образцам. Гордо именуя себя “русским Вольтером”, он вносил в свои сочинения то, что называли тогда вольнодумством, подрывавшим устои государственности, Православия. В трагедии “Димитрий Самозванец” отвергается божественное происхождение царской власти, авторитет царя, как помазанника Божиего: “Когда б не царствовал в России ты злонравно, Димитрий ты иль нет, сие народу равно”. “Пускай Отрепьев он, но и среди обмана, коль он достойный царь, достоин царска сана”. Масонские идеи находят отражение в риторике, лексике, цель которой — размыть абсолютные религиозно-церковные ценности путем внесения абстрактно-гуманистических “общечеловеческих” понятий. Автор “Истории русской словесности, древней и новой” А. Галахов (СПб., 1863) пишет об отсутствии у Сумарокова “твердых начал”: “В сочинениях его часто не видишь определенного понятия как о том, что он осуждает или хвалит, так и о том, во имя чего произносится осуждение или похвала... Слова: наука, истина, честь, философия, суеверие, неверие... не сходили у него с языка, но ему было бы трудно заключить их в точные формулы. Что именно разумел он под ними? Всегда ли принимал их в одном и том же смысле? Вот вопросы, на которые не всегда есть решительные ответы в его сочинениях”. Масонский характер лексики Сумарокова и может быть ответом на недоумение исследователя.

Масонское влияние сказалось и в сочинениях М. М. Хераскова. После знаменитой “эпической поэмы” “Россияда”, посвященной взятию Иваном Грозным Казани, поэмы, прославляющей “подвиг предков”, выходит другая поэма Хераскова “Владимир” (о крестителе Руси) — в духе масонской аллегории. По словам самого автора, его поэма есть “странствование человека путем истины, на котором... находит стезю правды и, достигнув просвещения, возрождается”.

2-я пол. XVIII в., на которую пало правление Екатерины II, ознаменовалась расцветом, величием российского национального государства, победоносным расширением его пространства, ростом влияния его в Европе, драматическими событиями внутри страны. В эволюции самой Екатерины как бы отразилось общественное состояние России — от ее “Наказа” с применением к законам “начала истины и человеколюбия”, близости к французским просветителям — Вольтеру, Дидро и т. д. до подавления пугачевского восстания, ареста автора “Путешествия из Петербурга в Москву”, запрета масонских лож.

В отличие от утилитарного характера петровской “системы воспитания” с ее специальными знаниями на потребу государства, “система воспитания” в духе “Наказа” Екатерины имела целью приготовления людей “быть гражданами”, для которых знания подчинены нравственному началу. Императрица и сама находила время для занятия литературой, она сочиняла пьесы, сказки с явной педагогической целью — высмеивала незлобливо всякого рода человеческие недостатки, пороки, и в этой незлобливости, а не в ядовитой сатире видела средство исправления нравов, улучшения нравственных гражданских качеств человека. Написанная ею для внука, будущего императора Александра I, “Сказка о царевиче Хлоре” с ее аллегорическим поиском “розы без шипов”, т. е. добродетели, вдохновила Г. Р. Державина на создание его прославленной оды “Фелица”.

С идеей нравственного воспитания личности связано творчество Д. И. Фонвизина, которого Пушкин назвал “из перерусских русским”. В молодости он увлекался Вольтером, другими французскими просветителями, был постоянным участником кружка атеистически настроенных вольнодумцев. Служба в Петербурге переводчиком иностранной коллегии, в других высоких учреждениях открывала ему знакомство как с темными нравами великосветской среды, так и с теми близкими его идеалу людьми, для которых принципом жизни была “честность”, “любовь к своей нации”. Сам Фонвизин, по свидетельству знавших его, при всем насмешливом, язвительном складе его ума сатирика, обладал необычайной добротой сердца, отзывчивостью на нужды близких, благородством. В свободное от петербургской службы время он приезжал к родным в Москву, в свое подмосковное имение, с которыми были связаны многие прототипы его комедий “Бригадир” и “Недоросль”.

Он увлекается театром, драматической литературой, уже юношей выказывая скептическое отношение к дутым страстям ложноклассической трагедии. Так, говоря о прочитанной им новой французской трагедии “Троянки”, изобилующей смертями и воплями сфабрикованных древнегреческих героев, он заключает: “Однако, плюнем на них. Стихотворец подобен попу, которому, живучи на погосте, всех не оплакать. Я сам горю желанием написать трагедию, и рукою моей погибнут по крайней мере с полдюжины героев, а если рассержусь, то и ни одного живого человека на театре не оставлю”. Несмотря на такое трезвое понимание классической условности, искусственности, ими отмечены не только “Бригадир”, но и “Недоросль” — с прямолинейно смысловыми именами положительными: Правдин, Стародум, отрицательными: Простаков, Вральман, Кутейкин; резонерством Стародума, рупора идей самого автора; единством места и времени, каноническими пятью актами. Все эти условности формы как бы “трещат по швам” от вторжения в пьесу реальной жизни с картинами провинциального помещичьего быта, живыми чертами человеческих характеров, метким разговорным языком персонажей. Главный герой “Бригадира” Иванушка, воспитанник французского гувернера-кучера, побывавший в Париже, презирает все русское, в том числе и своих родителей за отсутствие у них “разума”. На слова отца “бригадира”: “Да ты что за француз? Мне кажется, ты на Руси родился”, Иванушка отвечает, что тело его родилось в России, но дух принадлежит Франции. Такие лакеи иностранщины не переводились на Руси в жизни и в литературе — вплоть до Смердякова в “Братьях Карамазовых” Достоевского, который злобствует, что в 1812 году глупую нацию, т. е. русских, не завоевала умная нация, т. е. французы.

Другой повеса — Митрофанушка в “Недоросле” представлен как уродливый плод уродливого воспитания, злонравия той помещичьей среды, где господствуют крепостнические порядки с их произволом и “бесчеловечием”, как говорит положительный герой пьесы Стародум. В противовес “европеизму”, воспитанию показному, внешнему Стародум высказывает мысли (и это мысли самого автора) о “нравственном воспитании”. Смысл его не в том, чтобы “чужим умом набивать пустую голову”. Главное в человеке, что не меняется как ценность “во всякое время” — это душа. “На все прочее мода: на умы мода, на звание мода, как на пряжки, на пуговицы”. “Без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь. Невежда без души — зверь”. “Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло”.

В век просветительства, употребляя его слово “моды” на науку, Фонвизин прозорливо увидел величайшую опасность в отрыве от ее религиозной, нравственной основы. Впоследствии Достоевский скажет, что при взгляде на науку как на высшую самоценность, ученый, если надо для науки — резать детей, то он и будет резать. То, что ныне называется на ученом языке сциентистской цивилизацией (от лат. scientia — знание, наука), оказавшейся в глубочайшем духовном кризисе, подтверждает, как правы были в своих прозрениях лучшие русские умы.

В лице Фонвизина русская мысль перестает быть ученицей Запада, во взаимоотношениях с нею утверждает свою самобытность. Воочию увидев Запад таким, каков он есть, Фонвизин прощается с прежней идеализацией его. Писанные им во время путешествия по Франции письма замечательны острой наблюдательностью, трезвостью, независимостью суждений о тех или иных явлениях европейской жизни. “Надобно отрешиться вовсе от общего смысла и истины, если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного. Все сие однако ж не ослепляет меня до того, чтоб не видеть здесь однако же и больше совершенно дурного и такого, отчего нас Боже избави”, — делится он своими впечатлениями в одном из писем. Говоря о французах как о нации “человеколюбивейшей”, он вместе с тем приводит свой разговор с парижанами, весьма нелестный для их национального характера. “Сколько раз, имея случай разговаривать с отличными людьми, напр., о вольности, начинал я речь мою тем, что сколько мне кажется, сие первое право человека во Франции свято сохраняется; на что с восторгом мне отвечают: “que le Francais est ne' libre” (француз рожден свободным), что сие право составляет их истинное счастье, что они помрут прежде, чем потерпят малейшее его нарушение. Выслушав сие, завожу я речь о примечаемых мною недостатках и нечувствительно открываю мысль мою, что желательно б было, если б вольность была у них не пустое Слово. Поверите ли, что те же самые люди, которые восхищались своей вольностью, тот же час отвечают мне: “O, Monsieur,vous avez raison! Le Francais est ecrase! Le Francais est esclave (О, мсье, вы правы. Француз придавлен... Француз раб). Говоря сие, впадают в преужасный восторг негодования. Если сие разноречие происходит от вежливости, то по крайней мере не предполагает большого разума”.

Письма писались за два года до революции 1789 года, и предчувствие ее как бы запечатлелось в этих письмах, в этих нарисованных автором страшных картинах разложения французского общества, развращения нравов, беззакония, нищеты народных масс, всеобщей продажности, беспощадной власти денег и т. д. “Ни в чем на свете я так не ошибся, как в мнениях своих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел... что не может уже никто рассказами своими мне импонировать”.

Итогом его размышлений об увиденном на Западе стало убеждение, что “наша нация не хуже никоторой” и даже то, что он готов отдать предпочтение своей, русской нации: “Если здесь прежде нас жить начали, по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе разную форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились”. Эта мысль о самобытности русского исторического пути роднит Фонвизина со славянофилами.

Есть у Фонвизина забавное вроде бы, но прямо-таки символическое описание одной истории. В Калуге простая русская женщина, “великая богомолка”, молилась за него, “громогласно вопия: Спаси его, Господи, от скорби, печали и от западной смерти! Скорбь и печаль я весьма разумел, ибо в Москве то и другое терпел до крайности, но западной смерти не понимал. По некоторым объяснениям нашел я, что Марфа Петровна в слове ошиблась и вместо внезапной врала об западной смерти”.

Судьба спасла Фонвизина от западной смерти. Вольтерианец в молодости, он с годами, освобождаясь от ложного просвещения, все более проникается светом веры и кончает жизнь глубоко религиозным человеком. По рассказу очевидцев, уже в парализованном состоянии, сидя однажды в церкви Московского университета, он говорил университетским питомцам, указывая на себя: “Дети! возьмите меня в пример: я наказан за свое вольнодумство! не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслию!”

В истории России особенно захватывающим для Пушкина был XVIII век. Много труда положил он на изучение Петровской эпохи, плодом которого стала “История Петра I”, не завершенная им и не изданная после его смерти из-за критических суждений о некоторых сторонах исторической деятельности и личности Петра I. Он также занялся историческими разысканиями в государственных архивах и библиотеках, прежде чем начать “Историю Пугачева”. “Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю, как Пушкин”, — писал один из его современников, знаток исторических источников XVIII в.; “...я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные”. XVIII век России привлекал Пушкина мощью действовавших сил страны, вышедшей на мировые просторы, колоссальностью характеров исторических лиц.

Изумленными очами смотрел на этот век и Гоголь. Прочитав отрывки биографии П. А. Вяземского о Фонвизине, Гоголь писал автору о заключенном в XVIII в. “волшебном ряде чрезвычайностей, которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то что и пятидесяти лет еще не протекло. Нет труда выше, благороднее и который бы так сильно требовал глубокомыслия полного многостороннего историка. Из него может быть двенадцать томов чудной истории, и клянусь — вы станете выше всех европейских историков”. Говоря о великих именах прошлого, Ломоносове, Фонвизине, Державине и других, Гоголь пишет: “Никогда они даже не брались в сравнение с нынешней эпохой, так что наша эпоха кажется как бы отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует”.

Изучавший состояние России конца XVIII в. (в т. ч. и в парижских архивах) академик Е. В. Тарле пришел к заключению, что тогдашняя “русская торговля и промышленность были гораздо более развиты, чем в большинстве континентальных держав, и что (кроме Франции) ни одна страна не была столь экономически независима, как именно Россия тех времен”. Громом побед славили Россию на всю Европу, как тогда говорили — вселенную “екатеринины орлы” — Потемкин, Румянцев, Суворов, Ушаков, Репнин. В лучших творениях Державина классическая условность сметается силой вдохновения, исторического чувства автора. Сам поэт считал себя певцом Фелицы — императрицы Екатерины II, связывая свое бессмертие как производное от ее бессмертия. Он и певец государственного величия России, ее ослепительных побед, ее великих полководцев. Много стихотворений он посвятил Суворову, с которым был в добрых отношениях и с кем его объединял общий для них высокий патриотизм.

Державина с цельностью его личности как государственного деятеля и великого пиита, убежденного консерватора, обошло стороной модное в то время “просветительство”. В стихотворении “Колесница”, написанном при известии о революционных событиях во Франции в 1793, говорится об этой стране: “От философов просвещенья... ты пала в хаос развращенья”. Спустя полвека с небольшим Ф. И. Тютчев, долгие годы живший на Западе, в статье “Россия и революция” основным свойством революции назовет ее антихристианский дух. Основа западной цивилизации — “человеческое я, заменяющее собою Бога”. И не к нынешним ли “российским демократам”, объявившим “перестройку-революцию”, ориентирующимся на “цивилизованный” Запад, можно отнести слова Тютчева: “Революция, если рассматривать ее с точки зрения самого ее существенного, самого первичного принципа, есть чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что... принято называть цивилизацией Запада... Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого...”.

В статье “О лиризме наших поэтов” Гоголь, говоря о некоторых стихотворениях Ломоносова, Державина, Пушкина, Языкова, писал: “Наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно”. “Я есмь — конечно, есть и Ты!” — воскликнет он в своей знаменитой оде “Бог”. Глубоким религиозным чувством одушевлена эта ода, где поэтические образы — определение свойств Творца — не посягают на христианскую догматику. Бог, земная судьба человека и вечность, смысл бытия — об этих тайнах много размышляет поэт. “Жив Бог — жива душа моя!” — уверяет он в стихотворении “Бессмертие души”. Не может умереть дух — сущий, непостижимый, живущий внутри и вне человека. В стихотворении “На безбожников” он видит в вольнодумцах духовных слепцов, не признающих всевышнего промысла, полагающих, что в мире правит слепой случай.

Собственные порывы его мысли о тщете земной прерываются светлой нотой веры:

“Все суета сует! — я, воздыхая, мню: Но бросив взор на блеск светила полудневна, — О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю? Творцом содержится вселенна. ...Он видит глубину всю сердца моего, И строится моя Им доля”.

Это из стихотворения “Евгению. Жизнь званская”, обращенного к митр. Евгению Болховитинову, другу Державина, археологу и историку русской литературы. В заключительной строке поэт говорит о своем доме в Званке на берегу Волхова: “Здесь Бога жил певец, Фелицы”.

Смерть и бессмертие. Как все крупное, колоссальное в исторических личностях XVIII в., в их деяниях вызывает мощные, победительные звуки державинской лиры, так по контрасту с ними, с несокрушимостью, кажется, светского блеска и земной славы, воплем ужаса и недоумения отзывается реальность смерти.

Где стол был яств, там гроб стоит; Где пиршеств раздавались лики, Надгробные там воют клики, И бледна смерть на всех глядит. (“На смерть князя Мещерского”)

Смерть никого не щадит: и царей ожидает такая же участь, как и их рабов. Горестью и отчаянием пронизано стихотворение “На смерть Катерины Яковлевны”, жены Державина.

Роют псы землю, вкруг завывают, Воет и ветер, воет и дом; Мою милую не пробуждают; Сердце мое сокрушает гром! ...Все опустело! Как жизнь мне снести?..

Невольно приходит на память описание в повести Андрея Платонова “Сокровенный человек”, как машинист Пухов, похоронивший жену, с опустелой душой встречает утро в опустевшем для него доме и мире: “...вьюга жутко развертывалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую... Нечаянно он крикнул, по старому сознанию: — Глаша! — жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча”.

Через столетие с лишним порываются друг к другу стенания живых человеческих душ, несмотря на “классицизмы” и “соцреализмы”.

В оде “Тление и нетление”, посвященной памяти М. И. Кутузова, Державин предается раздумью о смерти и бессмертии. Нетленье, бессмертие Кутузова поэт видит в его деяниях как сына Отечества, как его спасителя.

Современник Державина А. Т. Болотов в своих записках от 1796 писал о нем: “Славный наш поэт, Гаврила Романович Державин — не русский, а татарский дворянин с низу и потому называется мурзой” (Державин был потомком татарского рода Багрима.) И о себе, касаясь истории своих предков, Болотов сказал: “Скажу вам, любезный приятель, что я природы татарской!., сие ничто иное значит, как то, что первые наши предки были татары и выехали в Россию из Золотой Орды”.

Оба потомка татарского рода стали гордостью России, и это только лишний раз доказывает, сколь мощно было обаяние, влияние русской, православной культуры, что она становилась родной для людей иной народности, национальности. И оба они остались верны православной вере, когда многие их современники-вельможи впадали в соблазн вольнодумства, масонства. По словам автора “Истории русской словесности” А. Галахова, масоны неоднократно привлекали Державина в “свое отечество, но всегда без успеха”. А Болотов сам рассказывает, как, познакомившись в Москве с М. М. Херасковым и зная его принадлежность к “масонскому ордену”, он проявлял в общении с ним “возможнейшую осторожность”: “...как он ни старался уговаривать меня, чтоб я когда-нибудь приехал к нему на вечерок, но я, ведая, что по вечерам бывают у него собрания сокровенные по их секте, и опасаясь, чтоб не могли они меня каким-то образом и против хотения моего втянуть в свое общество, всегда извинялся недосугами...” И уже младший современник Державина и Болотова С. Т. Аксаков расскажет впоследствии в своих воспоминаниях “Встреча с мартинистами”, как в начале XIX в. ему, молодому человеку, с опасностью для жизни удалось избежать силков масонских.

Болотов обладал поистине энциклопедически разносторонними дарованиями: прекрасный знаток, практик сельского хозяйства, агроном, селекционер, экономист, садовник, архитектор, рисовальщик, историк, писатель. Он автор замечательной книги “Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков 1738—1793”. Писанные не для печати (впервые извлечения из записок появились в журнале “Сын Отечества” в 1839, а в 1870 — 73 они вышли 4-томным приложением к журналу “Русская старина”), адресованные детям, потомкам, записки Болотова открыли читателю богатейшие пласты русской жизни XVIII в. Здесь и события, связанные с Семилетней войной, и дворцовые нравы при Петре III, деятельность масонов, судьба издателя Новикова, казнь Пугачева, картина дворянского провинциального быта и т. д. И через все повествование, можно сказать, светится образ самого повествователя, в котором удивительная зоркость взгляда, пытливость ума, редчайшая обширность познаний органично соединена с нравственной возвышенностью, религиозной глубиной. Личность автора характерно выражена в естественности, простодушии его слога, в том особом тоне разговорной его речи, который он сам назвал разговором “с прямым сердцем и душой”. Кстати, “прямота”, как черта нравственная, проходит через всю русскую историю, русскую культуру. В присяге избранному на всероссийский престол государю Михаилу Федоровичу Романову, говорилось: “Служити мне ему Государю и прямить и добра хотеть и безо всякие хитрости”. Оптинский старец Амвросий писал о другом оптинском старце, что в “письмах своих он обнажает истину прямо”. У русских классиков: “прямой поэт” (Державин), “Таков прямой поэт” (Пушкин), “счастье прямое” (Жуковский), “свободою прямою” (Батюшков), “чья мысль ясна, чье слово прямо” (К. Аксаков), “прямота чувств и поведения” (Достоевский), “прямые и надежные люди” (Лесков) и т. д. Говоря о языке “Записок” Болотова, следует признать, что таким выразительным в своей обыденной простоте языком никто в литературе XVIII в. не писал, включая и Карамзина, языковая реформа которого сблизила литературный язык с разговорной речью, но в пределах светской среды. Пушкин не читал “Записок” Болотова, которые стали публиковаться только после его смерти, и стоит лишний раз дивиться всеведению его гения, тому, как он мог в “Капитанской дочке” уловить дух русской жизни XVIII в. с тем языковым мышлением своего героя, которое сродни болотовскому.

Есть в “Записках” Болотова эпической силы рассказ о том, как один из его предков по имени Еремей во время войны с крымскими татарами попадает к ним в плен, более двадцати лет проводит как раб в жестокой неволе; бежав из плена, добирается до родимых мест и, ожидая увидеть с пригорка свой дом, не видит его: “На месте, где он живал... росли конопли”. Как понятно испытанное Еремеем потрясение фронтовику, вернувшемуся с войны на пепелище — из стихотворения М. Исаковского “Враги сожгли родную хату”; офицеру, сутками добиравшемуся до родной деревни в вологодской глубинке и видящему, что нет деревни, остались от нее одни заросли (рассказ В. Белова “За тремя волоками”).

Рассказчик, то есть Андрей Тимофеевич Болотов, и сам живет в прекрасном мире созидания, и вовлекает нас в него. Воплощением этого созидания стало сотворенное им садово-парковое чудо в Богородицке, Тульской губ., посмотреть которое приезжали отовсюду. Один из посетителей, наместник губернии, изумленный “прекрасными зрелищами”, слагает на ходу целый “акафист” увиденной им красоте. И действительно, неким напоминанием о земном рае отзывается это творение рук человеческих, и как свыше давались монастырской братии силы и умение обращать кусок мерзлой северной земли в плодоносящие грядки, так благодатью Божией отмечено это преображение ничем не приметного уголка тульской земли в край изобилия и чудес.

Говоря словами самого Болотова, “философией” его были “надежда и упование, возлагаемые всегда и во всем на помощь, покровительство и охранение Божеское”. И все поразительное многообразие его интересов — научных, практических — объединялось вокруг его религиозных, православных убеждений. Он писал богословские статьи, книги. Еще в молодые годы наряду с сочинением “Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящегося к самому себе и Богу”, он пишет “Детскую философию” с христиански-церковным обоснованием своих педагогических размышлений.

Как отмечалось выше, Ломоносов не ставил резкой границы между наукой и верой, видя единый их божественный источник. В обществе духовного и научного постижения мира, природы, мироздания, в православном осмыслении бытия и видится Болотову задача истинного просветительства, чему он и посвятил всю свою долгую, в 95 лет, замечательную жизнь.

В русской литературе конца XVIII в. классицизм уступает место сентиментализму (от фр. sentiment — чувство). Сентиментализм присущ и радищевскому “Путешествию” с “уязвленностью” души рассказчика “страданиями человечества”, патетической чувствительностью, экзальтированностью его реакции на угнетение людей, эмоциональными воспоминаниями. Но в более полном своем развитии сентиментализм связан с именем Н. М. Карамзина. Свои “Письма русского путешественника” он назвал “зеркалом души моей” — все увиденное за границей пропущено им через свои переживания, “мечтания”. В описании автором достопримечательностей Франции, Англии, Германии, его встреч с европейскими знаменитостями, с людьми разных сословий, в передаче подробностей культурной, общественной, политической жизни много восторженного, чувствительного. Благоговейное отношение к Франции, Западу, однако, омрачается, а затем сменяется глубоким разочарованием по ходу французской революции.

Русская литература XVIII в., начавшаяся с подражания западному рационалистическому просвещению, завершилась отвержением его, возвращением в лице Фонвизина и Карамзина к древнерусским духовным истокам. В молодости вращавшийся в кругу масонов, Карамзин позднее порывает с ними. За год до начала Отечественной войны 1812 года он пишет “Записку о древней и новой России”, с выраженным в ней пафосом русского национального сознания. “Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр”. Плодом двадцатилетнего изучения летописей и других исторических источников и художественного творчества стала “История государства Российского”, о которой Пушкин сказал: “Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом”.

Россия входила в XIX век в духовно-идеологическом единоборстве с Европой, которое во всей своей глубине и остроте обнаружилось в Отечественной войне 1812 года, поднявшей на небывалую высоту русское национальное самосознание и вызвавшей явление нашего всеобъемлющего гения Пушкина.